

Сергей Носов

ЧЛЕН ОБЩЕСТВА,
или
ГОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

РОМАН



люди и книги
Санкт-Петербург

Глава 1

ПАДЕНИЕ САМОВАРА

1

Кого ни спроси (тех, кто помнит еще) – помнят до мелочей День Великого Катаклизма.

Я-то помню день предыдущий.

В этот день я сдал Достоевского.

В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное – сочинений собрание – я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова... – закоулками, огородами, проходными дворами, пролазами... – просто тамошний «Букинист», он работал по воскресеньям.

Почему я не взял такси? Потому что не было ни копейки.

Ничего, ничего, он бы понял меня, Федор Михайлович, и простил, а то бы еще и благословил даже на сдачу его сочинений (так я себя утешал), ибо знал он, что такое долги, кредиторы и неплатежеспособность.

Полагаю, при определенных обстоятельствах он бы сам отнес, не задумываясь, в «Букинист» на

проспект Огородникова, окажись такой комплект у него пускай даже в единственном экземпляре, – свое полное собрание произведений – со всеми рукописными редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками несохранившихся и ненайденных писем, сводными указателями, включая фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, исправлений и дополнений.

Уже по этому перечню видно, что я ПСС открывал.

Не то слово. Я прочитал все 30 томов, или 33 книги, от корки до корки – от первых слов *От редакции*: «Настоящее Полное собрание Ф. М. До...» – до – до последней опечатки по списку: «П. К. Раухфуса» вместо «К. А. Раухфуса».

И все 30 томов, или 33 книги, я прочитал за 3 дня и 3 ночи!

Это покажется невероятным. Поверить в это нельзя. Лично я ни за что б не поверил, что такое возможно!.. Но я знаю: возможно!.. За 3 дня и 3 ночи!

И это было со мной!

Весной 91-го я имел глупость посещать платные курсы сверхбыстрого чтения по методу Шелеховского-Картера. Тогда этот сомнительный метод широко разрекламировали в газетах как «основной вспомогательный инструментарий метаинтеллектуального развития»; никто не знал, что сие означает, но верили, что что-то

хорошее. Вот я и пришел по газетному объявлению в ДК им. Крупской, заплатил девяносто рублей (тогда я работал и мог позволить), попал в группу к студентам и домохозяйкам, наслушался умных речей, ощутил на себе прелести глубинного погружения в «метаинтеллектуальный сфероид расширяющихся потенциалов», закайфовал – в меру предрасположенности к этому делу. Нам говорили, что учат нас будто бы по рассекреченной методике ГРУ-ЦРУ; тогда все время что-нибудь якобы рассекречивали, а якобы рассекретив, тут же выгодно втюхивали восторженным потребителям через всевозможные платные курсы.

Трехсуточная атака на Достоевского была мне засчитана как дипломная работа. Другие атаквали Теккеря, Серафимовича, многотомную «Жизнь растений», словари, энциклопедии, «Махабхарату» – в общем, то, что оказывалось под рукой. В целом я выдержал испытание. Получив свидетельство об окончании курсов и едва добравшись до дома, до койки, я, рухнув, понял, что еще чуть-чуть – и сошел бы с ума, – я вырубился, уснул, стал поленом, веслом, дирижаблем, оглоблей, а когда пробудился и посмотрел с ужасом на книжные полки, решил, что с Достоевским в одном доме мне делать нечего. (Забавно, что и жена моя – только уже по отношению ко мне, а не к Достоевскому – тоже пришла к аналогичным умозаключениям...)

Несколько дней я не мог смотреть на печатные знаки. А когда смог, то не смог внятно воспринимать напечатанное. Я не понимал, о чем читаю. Я даже не понимал, читаю ли я, когда я читаю, или я не читаю? А читал я так: или стремительно, или совсем никак, вперив неподвижный взгляд в одну букву.

Я запил.

Водка подействовала благотворно; я исцелялся. Через месяц-другой я снова научился читать по-человечески: как все – сначала по слогам, потом бегло, – правда, влечения к чтению напрочь лишился.

А на Достоевского я не сержусь. (И он пусть не сердится – там...) Был бы Теккерей или Серафимович, было бы то же самое.

И то, что я продал именно Ф. М., в этом нет ничего символичного.

А то, что продал не сразу, так это от лени. Вот, кредитора дождался звонка. И заспешил.

Спрашивается, зачем я ходил на эти idiotские курсы?

Объяснить невозможно. Все ходили куда-нибудь: на курсы прикладной астрологии, на курсы универсальной йоги, на курсы научного голодания... В стране кризис, почва уходит из-под ног, люди ищут опору...

Может, я хотел стать первоклассным корректором. (Никогда не хотел.)

Не знаю. Не знаю. Не могу объяснить.

...А вот чему я был бы рад придать значение (но не решаюсь), престранному разговору в троллейбусе, приключившемуся между мной и одним нижеобозначенным субъектом вскоре после того, как я получил за Достоевского денежку.

Разговор этот я нередко вспоминаю в деталях, но почему-то, вопреки моим вспоминательным усилиям, ничто не убеждает меня в его значительности. Совершенно случайный. Абсолютно нелепый. Хотя – сомневаюсь. Или все же не так? Со значением или? А иначе мне чем объяснить цепь дальнейших событий?

Итак, по порядку.

Мой нетерпеливый кредитор проводил август в поселке Солнечном. А до Солнечного, как известно, можно добраться с Финляндского вокзала. А от проспекта того Огородникова до Финляндского ходит, по счастью, троллейбус – «восьмерка»; вот я и поехал на нем.

Я сидел у окна и листал от нечего делать (здесь бы надо подробнее...) старинную с ятями книжку. Называлась она красиво: «Я никого не ем» – и вся кишела овощными рецептами. Эта книжка досталась мне в наследство от одной давней подружки, которой была не нужна – ну а мне и подавно. Я сегодня ее собирался по случаю сдать, приложив к Достоевскому, но Достоевского взяли охотно, а эту нет, ну и пусть. Их право.

Ладно. Троллейбус наш повернул на Загородный. На остановке возле пожарной каланчи вошел некто и сел рядом. Я книгу листаю; не прошло и минуты, как он подает голос:

– Что-то интересное... Судя по всему что-то суворинское... Или нет? Маркса?..

– Энгельса, – обрезал я довольно-таки грубо. Но он не обиделся.

– Понимаю. – Он дал мне понять, что ценит юмор. – «Анти-Дюринг» в переводе Веры Засулич.

Не обиделся – и блеснул эрудицией.

Я посмотрел на субъекта: зрелых лет, худощав, гладко выбрит. Он неприятно – неприятно доброжелательно – улыбался. И еще: несмотря на жару, был он в костюме. И костюм был с иголки.

Скрывать я не стал, пусть знает:

– «Я никого не ем».

– Вы?

– Нет, это название, – я закрыл книгу и показал обложку, – видите? «Я никого не ем».

– Зеленковой. Ольги Константиновны Зеленковой, – сказал мой сосед. – Как же не знать... 365 вегетарианских блюд... Петербург, тринадцатый год, если память не изменяет... У вас третье издание?

– Понятия не имею.

– А вы на титул взгляните.

– Третье, третье.

– Зеленков редактировал, Александр Петрович, супруг Ольги Константиновны, известный врач в свое время...

– Вот как? – поразился я необыкновенным познаниям.

– Он, он, – подтвердил незнакомец.

– А я и не знал. (И знать, честно говоря, не хотел.)

– В Харькове ее переиздали.

– Когда? – спросил я зачем-то.

– А недавно... Большим тиражом. В Томске – поменьше. В «Московском рабочем»... подождите, в «Московском» ли «рабочем»?.. или в «Столице»?.. нет, в «Московском рабочем», так там, в «Московском рабочем» (понравилось ему в «Московском рабочем»...), аж стотысячным тиснули. Бестселлер.

Тут я сказал:

– Популярная.

– Что ничуть не умаляет ценность вашего экземпляра. У вас редчайшей сохранности экземпляра. Просто редчайшей.

Я заскромничал:

– Корешок поврежден.

– Пустое! – энергично возразил мой попутчик. – Это же поваренная книга, вы понимаете? – поваренная! Часто ли вы видели поваренные книги в издательских переплетах?

– Никогда не видел, – честно сознался я. – Только эту.

– И не удивительно! Такого рода литература до дыр зачитывалась. Елена Молоховец на аукционе дороже Ахматовой идет прижизненной, почти

как Чехов с автографом! А все потому, что в издательском переплете. Это Елена-то Молоховец! Она в каждом доме, у каждой хозяйки была, и где теперь ее переплеты? Нет, нет, берегите свою Зеленкову, такой экземпляра, я вам просто завидую. Разрешите?

Я хотел ему дать книгу в руки, чтобы полистал, если хочет, но он брать и листать не стал, а лишь прикоснулся к обложке двумя пальцами, тогда как «Я никого не ем» по-прежнему держал я. Мне стало смешно.

– Возьмите, не бойтесь.

– Да? Вы разрешаете? Знаете, там у вас, я видел, печать какая-то... на титуле... Разрешите взглянуть?

– Сделайте милость. Это первого владельца, наверное.

– Какая прелесть! Какая прелесть! – Он внимательно рассматривал печать на титуле. – Какая прелесть, однако!

Печать же (однако) была самая обыкновенная – овал, по краям надпись: «Кабинетъ для изученія массажа и лечебной гимнастики», – а в середине: «П. Я. Струць».

– Уж не родственник ли ваш? – спросил я попутчика.

– Родственник, да не мой.

– А чей?

– Откуда ж мне знать, – проговорил незнакомец, возвращая книгу. – Вам лучше известно. Я ду-

мал, что ваш. Но не ваш. Вижу, не ваш. В принципе, все люди родственники. И вы, и я.

– Но вы сказали «какая прелесть».

– Просто я от печатей, от книг с печатями, сам не свой. Страсть такая во мне... книги с печатями. Я их, знаете ли, коллекционирую... Каких у меня только нет их... с печатями. Извольте:

Долгат Фомич Луночаров
Общество друзей книги

– прочитал я на визитной карточке.

Значит, не сумасшедший. Как будто. А то уж подумал. Все может быть.

– Вам выражение «маргинальная сфрагистика» о чем-нибудь говорит? – спросил Долгат Фомич Луночаров.

– Нет, ни о чем.

– Сфрагистика – это наука о печатях, позвольте напомнить, вообще о печатях. А маргинальная сфрагистика – то, чем я занимаюсь. Моя тема.

Я почтительно промолчал.

– Есть у меня Пушкин брокгаузский, великолепнейшее издание... А печать? Не догадаетесь: «Все-союзный Совет рабочих точного машиностроения. Библиотека завкома имени ОГПУ». Как вам нравится?

– Редкий, должно быть, экземпляр, – сказал я уклончиво.

– Еще бы. Ваш тоже редкий.

– Вообще-то это не моя книга.

– Я сразу понял.
– Почему?
– Для приверженца безубойного питания у вас не тот цвет лица, извините. Вы сегодня жарили что-то на свином жире, бьюсь об заклад.

– Верно, картошку...

– А вчера, не хочу вас обидеть, пили портвейн. Молдавский. Где вы только достали его. Все спирт «Рояль» пьют.

– Потрясающе, – вымолвил я, без дураков потрясенный, ибо действительно был угощаем вчера молдавским розовым в компании выпускниц не то Академии связи, не то Института культуры... (В тот год спиртные напитки *шли по талонам.*)

– Очень был бы признателен вам, – продолжал Долмат Фомич, – если бы вы нашли возможным позволить мне переснять как-нибудь титульный лист этого замечательного экземпляра – с печатью. Верну, верну обязательно!.. В моей коллекции нет ничего касаясь лечебной гимнастики. У меня больше по общественным дисциплинам, по сельскому хозяйству, по искусству...

Почему же не дать? Я дал ему книгу, пусть переснимет. Он бережно положил ее в кейс. Мой телефон записал и даже адрес, обещал позвонить. Спросил, когда лучше – утром? вечером?

– Утром. Вечером меня не бывает... – «трезвым» следовало бы добавить. – Только соседям не передавайте, у нас плохие отношения. (Под «соседями» я подразумевал жену с ее не скажу кем.)

– Понимаю. А может, у вас по музыке есть что-нибудь? Я печать имею в виду... Нет? Хотя бы школы какой-нибудь музыкальной?

У меня ничего по музыке не было, ничего музыкального, даже слуха не было, не то что школы, – о чем я и доложил Долмату Фомичу, сам не знаю зачем. Медведь, сказал, наступил на ухо.

– Вот уж не поверю, музыкальный слух может развить каждый.

– А я не могу. У меня патологическое отсутствие слуха.

Я не обманывал. Я не чувствую ритма. Я не способен отхлопать на ладошах пять слов по слогам. Спеть что-нибудь – Боже упаси! Не способен танцевать. Буду наступать на ноги. Да еще не в такт. Самое невероятное: мне снятся музыкальные сны, а иногда (и нередко!) звучат в голове мелодии – знакомые, полужнакомые и, главное, совсем незнакомые, я слышу их!.. но чтобы воспроизвести, хотя бы самую простенькую... никогда в жизни!.. Даже «Чижик-Пыжик» спеть не могу. Полное отсутствие слуха.

Я так и сказал. Вообще-то я человек скрытный, но не знаю сам, зачем-то я разоткровенничался.

– Выходит, внутри вас живет музыка? – спросил Долмат Фомич, привстав (его остановка).

– Живет, да не выходит. – Я засмеялся.

– Гений! Гений! – восхищенно воскликнул мой собеседник. – Ну мне пора, – и пожав руку, выскочил из троллейбуса.

В Солнечном я был недолго. Встретился со своим нетерпеливым кредитором (о чем рассказывать неинтересно) и отдал ему почти все деньги, вырученные за Достоевского, – расплатился. На душе посветлело.

Того, что осталось, хватило еще на две бутылки «Стрелецкой» – по самой что ни на есть *коммерческой цене* (не по талонам).

Тридцатитомный, большой и тяжелый, Достоевский тогда стоил достаточно дорого. А билеты на электричку почти ничего не стоили. Водка дорожала в соответствии с падением курса рубля – день ото дня и очень заметно. В городе ее почему-то не было. А в Солнечном почему-то была. И кто мог купить, покупал.

Короче, на Достоевского, на тридцатитомного, полного, академического, можно было бы жить больше месяца, если б не долг. А месяц был август. Краснели гроздья рябины. Помню, смотрел я в окно электрички и думал, как продал легко его, сдал. Страна у нас при всем при том (при том, что я сдал Достоевского) оставалась по-прежнему *литературоцентричной*: ехали и читали – кто детективы, кто классику... кто роман, кто басню... А кто-то в окно смотрел, кто читать не желал или нечего было. Кончилось лето почти. Гроздья рябины. Я лета не видел.

Это по прошествии дней многим будет казаться, что в те часы накануне грандиозных событий все

только и думали об одной политике. Вот и не так. Я лично, глядя в окно электрички, переводил полного Достоевского в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка) – в денежном эквиваленте.

Самым дорогим был Достоевский в спичках (если в мировых ценах). А также в отечественных презервативах. А также в ворованных дрожжах, что продают пачками возле проходной комбината на Курляндской улице.

Но и без спичек, и без отечественных презервативов, и без ворованных дрожжей можно было бы жить на Достоевского месяца два-три, получалось.

Если б не долг.

Я второй месяц нигде не работал.

А жил я у парка Победы в сталинском доме с высокими потолками.

Один – не один.

С некоторых пор я полюбил не торопиться домой, если это можно называть домом.

В тот вечер вот что случилось.

4

Около девяти приходит ко мне с куриным паштетом институтский приятель Валера, и не один.

– Познакомься, Надей зовут, – так он представил.

Ну, Надя и Надя.

Хлеб я купил, и мы выпили за Надежду. И за наше общее, что ли, здоровье. И потом, не чокаясь, ни за что – по простоте отношений.

Поначалу пить не очень хотелось.

После третьей Валера закомплексовал. Он просил извинить его, что пришел ко мне с Надеждой одной, без подруги Надежды.

– У нее такая подруга!..

– У меня такая подруга!.. – подтвердила подруга Валеры.

Однако «Стрелецкая» славно пошла.

За стеной загудело. Это включился пылесос не без помощи моей полубывшей жены. Он всегда включается, когда ко мне приходят гости. Жена полюбила чистить ковер. Ненавижу с детства этот ковер, эту мещанскую роскошь.

– Удивительный человек, – сказал Валера, открывая вторую бутылку, – он женился на аферистке. Она с ним фактически развелась, живет с хахалем в его же квартире, оттяпали комнату, и теперь они, представляешь, вы-трав-ли-вают, вы-трав-ляют его отсюда, гонят на улицу! Олег, помяни мое слово, ты здесь жить не будешь!

– То есть как вы-травливают... вытрав-ляют? – спросила Надя Валеру.

– Буквально: собакой!

– У них овчарка афганская, – я Наде сказал.

– А у него на собак аллергия.

– Преувеличиваешь, – сказал я, – сильно преувеличиваешь.

Я не против истины, но Валера действительно преувеличивал. Хотя в его словах доля правды была. Не хочу развивать коммунальную тему, она

мне противна. Другой жанр. Если послушать Валеру, я какой-то болван, недотепа. Все гораздо сложнее. И с женой, и с той же собакой.

Между прочим, я не разводился с Аглаей (мою жену Аглаей зовут, и ничего тут не поделаешь...); формально мы в браке.

– А давайте-ка выпьем за вас, за присутствующих! – Надежда встала.

И мы – стоя. За нас. За мужчин.

Пылесос нам не был помехой.

Валера рассказывал про школу брокеров, куда он пойдет и всем покажет. Тогда мы увидим. Он зарабатывает миллион уже в этом году. Спрашивал, пойду ли я в брокеры? Отчего ж не пойти. Я ответил:

– Конечно.

– Хочу с Олежкой, – Надя вдруг захотела. – Олежка. Олежка. Олежка.

Тем не менее она сидела у него на коленях.

Валера гундосил:

– Ну ты, Надь, что ты, Надь... я ведь, Надь, я ведь тоже хороший, Надь...

Обижать Валеру, Надь, я не имел, Надь, морального права – он гость, Надь, пускай ты и говорила: «Олежка, Олежка...» (Они были пьяные оба. Факт. Я понимал.)

– Слушай, а ты знаешь, на что мы это, пьем сегодня? – вдруг встрепенулся Валера. – Олежка Достоевского продал!

– Бюст? – спросила Надежда.

– Сочинений, – сказал я, – собрание. Полное!

– Бюст, наверное, дорого стоит, – о каком-то все грезила бюсте.

– Живет на Сенной, – Валера мне объяснил, – у тетки живет. А ты был на Сенной? Барахолка... Три тыщи народу...

– Если есть что продать, я продам, – Надя сказала, обнимая Валеру. – Хоть бюст, хоть что.

– Книга не водка, – я тоже сказал, – она должна быть дорогой.

Чужая мысль, не моя.

И небесспорная.

Оттого что я вспомнил ее, чужую, меня замутило. С некоторых пор организм не переносит цитаций. Я встал и пошел на кухню. Шатало.

Я хотел попить холодной воды, но из крана почему-то текла только горячая, видно, кран у нас работал неверно.

Горячую я пить не желал.

Элька вылезла из-под стола и зарычала.

– Поди прочь, животное, – сказал я собаке.

– Не называй Эльвиру животным! – это вышла моя жена, вернее, уже нежена из своей... моей, вернее... в общем, из другой комнаты.

– Сука, – сказал я собаке назло жене.

– Алкоголик! – закричала Аглая. (Па-па-па-бам!.. К вопросу о музыке...) – Ты нарочно дразнишь ее, чтобы она тебя укусила!

Я не был алкоголиком. Я стал выпивать лишь в последнее время. И потом не потому на меня рычала собака, что была мною дразнима, а потому

что... не знаю сам почему... потому что знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти?..

– Пошла отсюда, пошла отсюда, – повторял я собаке, – скотина плешивая!..

– Артем! Он хочет, чтобы его укусила Эльвира!

– Сука, – продолжал я свои оскорбления.

Ее вошел в турецком халате.

– Артем! Посмотри на него!..

Ее посмотрел.

– Гашенька, моя дорогая, – заскрежетал ее зубами (своими зубами), – Гашенька, моя дорогая, ты только скажи мне, я его в порошок сотру!..

– Скажи скорей ему, Аглая, за что тебя твой муж имел? – не удержался я передразнить Пушкиным.

На сей раз цитата, точная или неточная, получилась все-таки к месту, и для меня – как глоток свежего воздуха (право, не ожидал). Аглая взвизгнула. Собака тьякнула. Ее дал мне в глаз. Я дал в глаз ему. Мы сцепились. Затрещал халат турецкий. Попадали стулья. Посуда полетела со столика.

Но силы были неравные. Ее весил больше. Ее был к тому же трезвым, надо отдать ему должное. А мои, им было не до меня – там, за дверью они занимались любовью, они могли не услышать. Хотя крик стоял еще тот.

– Я сожгу их в печке! – кричала жена про какие-то деньги. Про какие же деньги, интересно, она так надрывно кричала? И кричала ли она взаправду про деньги? А может, про письма? Про чьи?

Не приснилось ли мне это позже в больнице?
Не самому ли придумалось?

Я же точно кричал:

– Аферисты!

В общем, картина нелицеприятная.

Стоял у нас большой медный самовар на буфете. Память о бабушке. В детстве я прятал в нем сигареты. Жена говорила, что я подарил ей самовар этот на день почему-то ее рождения. Неправда. Я не дарил. Но пусть.

Он-то и загремел мне на голову.

В глазах потемнело. Уездили клячу, послышалось мне (или вслух произнес – кто теперь знает?).

Надорвалаааась.

Я потерял сознание.

5

Моя фамилия Жильцов. Олег Жильцов.

Жильцов Олег Николаевич.

Странная фамилия – Жильцов; Нежильцов мне кажется более внятной.

Естественно, в школе я был Жильцом. И во дворе был я Жильцом. Что лучше, конечно, как думаю я сейчас, чем быть Кирпичом, например, каковым был мой враг Кирпиченко. Но кирпич, я думал тогда, – это твердость, увесистость, прямота, а что такое жилец? Я недолюбливал свою фамилию. Я недолюбливал свою фамилию за то, что она начиналась почему-то с малосимпатичной буквы «Ж», за

то, что в ней явно слышалась ЖИЛА, за мягкий знак, за желе, за глупое цоканье. Учителя, мне казалось, произнося «Жильцов», сглатывали слюну.

Иногда я протестовал. Ко мне обращались: «Жилец». – «Я не жилец», – отвечал я сурово.

В шестом классе в гостях у Оли Кашицкой я впервые увидел словарь Даля. Полюбопытствовал. Не найдя слов неприличных, ни того, ни другого, ни третьего, открыл на жильце. Так вот кто такой жилец.

«Кто жив, кто живет или кому еще суждено жить».

Хорошо это или плохо? Пожалуй, с этим можно смириться.

Хуже: «Постоялец, нанимающий помещение». Еще хуже: «Паренек для прислуги».

Неясно, как относиться к – «уездному дворянину, жившему при государе временно». Вроде бы дворянин – вполне сносно, но почему «при» и каком еще государе?

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА